

**МАРИНА
ЦВЕТАЕВА**

ЖЕНИХ

Марина Ивановна Цветаева

Жених

Серия «Автобиографическая проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175893

Марина Цветаева. Проза: Эксмо-Пресс; Москва;

ISBN 5-04-008397-1, 5-04-008265-7

Аннотация

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Содержание

Марина Цветаева

Жених

Не мой и не Асин: общий. А в общем – ничей, потому что ни одна не захотела. Была еще старшая, но она уже была замужем. Но если бы и не была – тоже бы не захотела. Кто захотел бы? Впрочем, всякая, без чутья. Молодой, если не красивый, то благообразный, именно благообразный (вообще все, что угодно от блага: благоприличный, благоразумный, благонамеренный, все, все, кроме – *рудный*, этого не было, и из-за этого-то...), как говорится, “умный”, “образованный”, “культурный”, из приличной семьи, с хорошим будущим... В этом будущем-то все дело и было, ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал: охаживал. И как! – кругами, как кот – мясника. Кот, впрочем, был сытый, немножко даже слишком. Рослый и плотный, и, увы, весь какой-то потный, неуловимо, точно каким-то подкожным потом, как бывает подпочвенная вода. Вообще, с водой он был связан целиком. Во-первых, глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места. В детстве такие глаза именуются небесными, позже – честными. Почему у женщин такие глаза именуются русалочьими, а у мужчин –

честными? Приводятся как гарантия честности, а принадлежат они, обыкновенно, самым пройдохам. Этими глазами-то они и проходят – в первые ученики, и в зятя, и в директора. “Человек с такими глазами не может...” Нет, человек с такими глазами именно *может*, и может – все. Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не минуя и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно пересмотреть. Второе ощущение: губы говорят одно, а глаза другое: свое и непременно нехорошее. – “А я знаю!” – что? – да какую-то про тебя гадость, такую гадость, которую ты и сам про себя не знаешь. И вот, в смятении, начинаешь искать. Если человек слаб, он непременно найдет. Так или иначе, вы этими глазами побиты заранее. Ибо свойство этих глаз – власть. Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит – внушения. Заставлю признаться! – В чем?! – Да в том, что ты такой же, как я.

(Как если бы вчерашний каторжанин допрашивал бывшего товарища.) Глаза сообщничества, от которого вы тщетно отбиваетесь. Если вы их прочли, вы еще более пропали, чем если вы им поверили. И, странная вещь, именно их, у интеллигенции слывущих “честными”, простолюдин неизменно назовет бесстыжими. Слово, которого, кстати, вы никогда не услышите о черных, нет, только о светлых, и из светлых – только о голубых. И о голубых с непременно черными ресницами, которыми правда точно черным по-белому написана, и гласит она: – Берегись! И, чтобы все сказать: *честные*,

как речная вода.

С водой жених еще был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Тарусе была дачка. Как только мы с Асей впервые в нее вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж... – что? Да благостно! Женихов отец с толстым темно-синим сатиновым животом, еле удерживаемым крученым, с кистями, поясом, медовым голосом приглашающий нас “испить чайку с медком”, и даже, кажется, “почтить”; женихова мать – с теми же глазами, только разбавленными и расслабленными “бабьей долей”, с теми же, но разведенными: все, что было голубого, слила сыну, себе же ополоснула – с каким-то зазыванием страшных снов влекшая нас к столу и варенье есть убеждавшая так, точно в вазочке не крыжовник, а живой жемчуг; сама обстановка, – именно обстановка: то, как вещи человека обставали: стулья – прислоняли, диванчики – засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротивления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растет, дому, “русском стиле” солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, – и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов “эхма” да “ух”, разделяемых “сподобил Господь” и “все под Богом ходим”, и, теперь я назову главное – почет. Почет, сразу наведший нас с Асей на верный след – Толиных честных глаз.

– И с чего это, – говорили мы, спускаясь и подымаясь, как

по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, – добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы... Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться... Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

– Просто выгнать – за один вид.

– А заметила, как одобряли, как на каждое слово хихикали?..

– Особенно отец.

– Особенно мать.

– А Толя сидел и обливался маслом. Ася, клянусь, что он облизывался. Да: на тебя!

– Гадости говоришь. Если облизывался, так уж конечно на тебя, потому что меня ему по крайней мере, по самой крайней мере еще три года ждать. А тебя только год.

Третья его связь с водою была баня. В Тарусе ли, в Москве ли, придешь в званые гости, его сестра Нина, еще с порога:

– А Толи еще нет. (Шепотом на ушко.) Он в бане. Просил вам не говорить, но я уж по дружбе скажу.

И когда после бани, явно-распаренный и недаром распаренным голосом: – “У вас голова Антиноя...” – самое мягкое, что можно было отрезать: – “Не говорите глупости!”

– Настоящий банный мужик, – говорила Ася с негодованием, – хотя я банных мужиков никогда не видела. Ему бы мочалкой купцов скрести, а не писать стихи про nereid. Недаром его отец всегда хвастается, что из простых мещан, а

вот стал классным надзирателем. Я, конечно, за равенство, – продолжала третьеклассница, горячась, – но только не в замужестве. Лучше за нелюбимого царя, чем за любимого пономаря. А этот еще и нелюбимый.

Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглаваемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных – бледное русо-бородое и -усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.

– Марина! За вашу тайную мечту! Ася, – за нашу!

– Что-о-о?!

– Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar!¹

– Хороший молодой человек, – резюмировала немка после каждого его посещения. – Тихий, почтительный, с хорошим манер. Только, schade², что у него такое Kaesegesicht³. Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.

Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.

– Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)... поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать.

¹ Ради Бога, дитя мое, не кричи так ужасно! (нем.).

² Жаль (нем.)

³ Здесь: “непропеченное” лицо (нем.).

Потому что душа у них самая змеиная.

Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом – крестьянских мальчишек и девчонок, зимой – мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: – “Марина, у вас глаза совсем как у дриады...” – я, по совершенно чистосердечной ассоциации: – “А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low’a?” Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я назвала не случайно, ибо жених был ими – дриадами, наядами, русалками и весталками – начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалений гр. Валевской, приехавшей *к нему* на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, “впрок” – на случай, если Ася, действительно, *не*... А Ася – люблю девическое тринадцатилетие! – действительно *не* – и ни за что.

– Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?

– Для вас – никогда.

– Наконец, прозреете?

– На вас – никогда.

– Как вы еще молоды! Слишком молоды!

– Для вас – навсегда.

В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом наполнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: “Трансваль, Трансваль, страна моя”... В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.

– А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.

– У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)

– Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову пашб. – И т. д., и т. д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая – милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.

– Если бы вы еще ходили на Анатоля из “Войны и мира”, – задумчиво говорила она, глядя на него то с правого

бока, то с левого, – но так как вы похожи на Левина, и даже не на Левина, а...

– Вам слишком рано дают читать серьезные книги... – перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.

– А такая книга, как вы, – не рано? Такие книги лучше не читать никогда.

* * *

– Папа, как тебе нравится Анатолий?

– Наш новый дворник?

– Нет, папа! Наш дворник – Антон, а это – студент, Тихо-нравов.

– А-а-а... Он, как будто, не особенно далекий? – (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах...

И эта аттестация – в ответ на “petits soins”⁴, которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное – складу, и в голову не могло прийти.

Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошло-летние зарубки роста. Мы перешли в последние

⁴ Здесь: подобострастие (фр.)

сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка – жирная раздавленная гусеница.

– Дурак, – сказала Ася холодно.

– Автопортрет, – уточнила я.

Под гусеницей фраза: “Берегите себя для себя и для меня”.

– Наглец. Он пишет, точно я *уже* в таком положении! И тут же, одним махом, на обороте: “Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось”.

– Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит! Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.

* * *

Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.

– Марина, пойду служить в Музей.

– С ума сошла! Там теперь Анатолий – директором.

– Анатолий – директором?! И даже не женись на нас? Ну

и счастливец!

– Не только не женись на нас, но женись на самой обыкновенной, как надо, барышне.

– Как надо – барышне? Нынче же иду в Музей!

Возврат и рассказ:

– Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. – “Вы давно приехали?” – “Вчера”. – “Что вам угодно?” – “Место в Музее”. – “Свободных мест нет”. Тогда я ему, очень кротко, но четко: “Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте”. – “Подумаю, *но* – если что-нибудь и найдется, то *не*...” – “Я и не претендую”. И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая – куда нам даже тогда! – по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.

Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование... но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все-таки

посидел.

Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг – заграничные, метод писания – собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот – каким?

Сентябрь 1933